

Князь С. А. Щербатов

Московские меценаты

Автор воспоминаний — Сергей Александрович Щербатов, известный художественный и общественный деятель начала века. Художник, поборник русского искусства, он отдал на служение ему свою незаурядную энергию и крупные личные средства.

В его стильном доме на Новинском бульваре (получившем первый приз Петербургской Академии художеств и завещанном владельцем городу Москве для устройства в нем музея) помещалась собранная им ценная коллекция картин русских художников и старинных русских икон.

Князь Щербатов был членом совета и жюри Третьяковской галереи, по приглашению академика А. Шусева участвовал в работах по росписи вокзала Московско-Казанской железной дороги, вместе с В. фон Мекк организовал выставку «Современное искусство» в Петербурге. Отрывки воспоминаний, которые мы представляем нашему читателю, являются главами из его книги «Одна жизнь с искусством». Печатаются по тексту, приведенному в парижском журнале «Современные записки» (1938).

К Москве я привязан крепкой традицией и моей любовью, нежной и глубокой, к самому обаятельному в те времена городу, единственному в мире по особому и трудно передаваемому очарованию. Только Константинополь и Севилья, во многом схожая с Москвой, производили подобное впечатление. Все русское мое нутро питалось Москвой, с годами крепло и художественное сознание того, что в Москве было необычного и единственного по красоте.

И все же приходится признать, что наряду с историческими памятниками и с очень богатой сферой музыкальной и литературной условия для развития имевшихся в Москве художественных сил были не вполне благоприятны. Почему не было их после великого культурно-национального дела П. М. Третьякова, почему преобладали в этой области или узкий консерватизм и косность или, наоборот, непродуманное увлечение модными течениями чужеземного искусства?

Это — сложный вопрос, связанный со всей установкой нашей национальной общественной жизни и культуры, нашим не критическим отношением к Западу и недооценкой своего собственного. Вся история искусства свидетельствует о взаимных влияниях живописи одной страны на другую, фламандской на итальянскую и обратно, итальянской на испанскую и т. д., но вряд

ли где-либо в такой степени, как в России, имело место такое раболепство перед чужим и вместе с тем такое равнодушие к великим традициям старого, сложного по своему внутреннему составу восточнo-итало-русского и все же русского по духу искусства. А между тем в стране, не имевшей своего Ренессанса, но хранившей великое Византийское наследие, развившейся на иных путях, со своей особой природой и особым духовным ликом, с прекрасным самобытным народным искусством, казалось бы, необходимо было сугубо бережно культивировать национальное художественное чувство.

При бесспорно большой положительной роли художественного коллекционерства, которым увлекались видные представители нового класса, передового купечества, было в этом увлечении, несмотря на кажущуюся утонченность, немало провинциализма, наивного преклонения перед последней модой парижского художественного рынка. Почему, например, была поручена — и за большие деньги — С. А. Морозовым роспись в его столовой в Москве Морису Денису, написавшему ужасные по слащавости фрески, а не кому-либо из русских художников, тому же Мусатову или Рябушкину, или Врубелю, которого, несмотря на его гениальность, в то время «держал в рублях» другой московский меценат? Вспоминается

торжество, устроенное Мих. Абр. Морозовым в его дворце по поводу купленной им, тоже за бешеные деньги, очень плохой картины Бенара «*Feerie intime*». Для Москвы это было *evenement du jour*, ходили на поклонение этого *chef d'oeuvre*, о котором теперь вспоминать стыдно.

Как не создавать было конкурсов, не питать прежде всего собственную художественную жизнь, при столь огромных материальных затратах на импортное чужое искусство? Как не вспомнить наших древних русских князей-меценатов, гордившихся своими Рублевыми, Дионисиями? Чем при благоприятных условиях может стать национальное искусство, показал несколько позже расцвет нашего театра, оперы, балета.

Характерным для Москвы и одним из самых ярких явлений в ее художественной жизни было собрание Сергеем Ивановичем Щукиным своей картинной галереи французской, и только французской живописи. Масштаб этого задания был по-московски широкий!

Небольшого роста, коренастый, с хитрыми умными глазками, необыкновенно живой и, несмотря на то, что он был заикой, чрезвычайно говорливый, Сергей Иванович привлекал и заражал всех своим горячим темпераментом, который он изливал в своей страсти коллекционера. Тут он достигал подлинного пафоса и убеждал своей искренностью и даже жертвенностью. Искренность этой страсти была несомненна, и это подкупало. Насколько отношение к самим произведениям искусства, а не к идее их собирания, и их внутренняя оценка были искренними, это подлежало нередко сомнению.

Думается, что, пропадая в Париже, куда Щукин ездил ежегодно и оттуда всякий раз вывозил обычно очень ценные, нередко первоклассные картины (у него были лучшие вещи Гогена, хороший Ренуар, Пювис де Шаванн, приобретенные еще до увлечения крайними течениями), он не столько руководился внутренней потребностью избрать для себя, на основании личной оценки и непосредственного чувства, ту или иную вещь, сколько учитывал признание ее значительности в художественных и художественно-торговых сферах Парижа. В этих случаях Щукин сталкивался с ажиотажем художественной биржи и подчас грубейшей эксплуатацией парижских торговцев, нередко переплачивая огромные деньги за модный товар *ala page*. То, что он называл случаем, было им весьма относительно.

«Сергей Иванович! — воскликнул я раз (Щукин был обидчив, самолюбив и не любил критики купленных им вещей), — ну, зачем вы купили эту, ведь, простите, плохую вещь Матисса, да еще за такую цену! 45 000 франков!»

Панно модного уже в то время Матисса было действительно невыносимо по озорству, несмотря на несомненный талант этого неровного художника. «А вы знаете, — как-то неожиданно искренне признался мне Щукин, — наедине я и сам ненавижу эту картину, неделями борюсь с ней, ругаю себя, чуть не плачу, что купил ее, и только за последнее время чувствую, что она меня начинает одолевать!»

Такое единоборство с явно навязанной ловким торговцем-рекламистом вещью, всю «сокровенную прелесть» которой бедный Щукин считал недоступной для него, но которая высоко котировалась, было трогательно и смешно. Думается, со многими холстами Пикассо он пережил то же самое; платя дорого и страдая сам в глубине души, Щукин заставлял себя ими восхищаться и вызывать восхищение у «отсталых» москвичей.

Мое положение в купеческой среде было несколько необычное. Я был студентом и еще не художником-профессионалом, которые охотно приглашались московскими «Медичисами» и не всегда к их пользе вовлекались в водоворот роскошной жизни. С другой стороны, я был представителем иного «класса», а в то время разграничение между купеческим и дворянским сословием соблюдалось еще довольно строго в силу не только бытовых традиций, но и директив выше. Стоит припомнить, например, что на большие официальные балы у московского генерал-губернатора Вел. Кн. Сергея Александровича купечество не приглашалось. Но популярность и личное обаяние моего отца, коренного москвича и в свое время первого избранного Москвой всесословного городского головы, были так велики, что он в купеческой среде был всегда желанным гостем. В силу этого, а также и в силу моего личного живого интереса к искусству, в свою очередь заинтересовавшего купцов, любителей искусства, и я был в этой среде принят с большим радушием.

У моего отца до старости сохранилось почти юношеское любопытство к новым и интересным явлениям жизни, он любил посмотреть, что кругом делается, заглянуть в чужую жизнь. Таким интересным явлением был вновь выстроенный дворец огромных размеров и необычайно роскошный в англо-готическом стиле на Спиридоновке богатейшего и умнейшего из купцов Саввы Тимофеевича Морозова, тоже крупнейшего мецената.

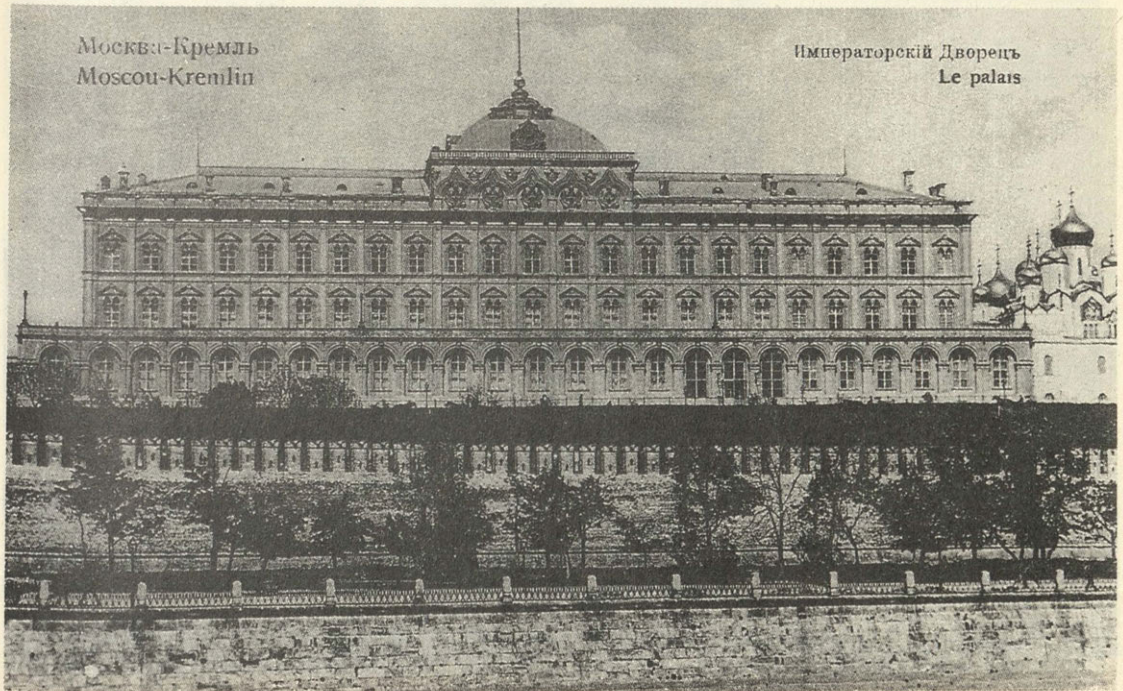
Я с отцом поехал на торжественное открытие этого нового московского «чуда». На этот вечер собралось все именитое купечество. Хозяйка, Зинаида Григорьевна Морозова, бывшая ткачиха, женщина большого ума, с прирожденным тактом, ловкая, с вкрадчивым выражением черных умных

глаз на некрасивом, но значительном лице, вся увешанная дивными жемчугами, принимала гостей с поистине королевским величием. Тут я увидел и услышал впервые молодого и еще довольно застенчивого Шалапина, тогда еще только восходившее светило, и Врубеля, исполнившего в готическом холле отличную скульптуру из темного дуба и большое витро, изображавшее Фауста с Маргаритой в саду.

На почве интереса к искусству я с Саввой Морозовым довольно близко позна-

было на широкую ногу, добротню, но довольно безвкусно.

Харитоненко обожал французскую живопись, но презирал современное искусство и считался в купеческом мире *vieux rompier*. Он тратил огромные деньги на крошечного Мэссонье; потолок его гостиной был расписан Фламэнгом. Хотя к его собранию живописи передовые московские меценаты относились несколько свысока, но искренней, интимной любви к картинам «для себя» в нем было больше, чем у них, и я очень ценил в



Москва-Кремль
Moscou-Kremlin

Императорский Дворец
Le palais

Москва. Кремль. Императорский дворец

комился. Грубый по внешности, приземистый, коренастый, с блеском ума и богатством замечательных возможностей, он наизусть цитировал целые страницы поэтов, обожал театр, щедрой рукой сыпал деньги на устройство нового здания Художественного театра. В нем были данные и дарования, которые могли бы сделать его русским Лоренцо Медичи, если бы он остался крупным промышленным деятелем, располагающим огромными средствами, и наряду с этим щедрым меценатом. К сожалению, его погубила и довела до самоубийства политика и увлечение, в связи с роковой для него дружбой с Горьким, крайними левыми течениями.

Иного, более старомодного склада был другой московский меценат, милейший Павел Иванович Харитоненко. Я довольно часто бывал у него в его роскошном особняке за Москвой-рекой, где все

нем эту черту, подлинную любовь к своим приобретениям. Под конец жизни он всецело сосредоточился на собирании древних русских икон, которыми увлекалась еще более его самого Вера Андреевна, его жена.

Незадолго до революции Харитоненки пригласили меня в их знаменитое своим благоустройством имение «Натальевку» Харьковской губернии, чтобы полюбоваться прелестной церковью, выстроенной, как священное хранилище целого музея изумительных икон XV и XVI веков.

У Харитоненко в имении я впервые познакомился с бывшим послушником Афонского монастыря и начинающим быть знаменитым художником Малявиным. Он писал большой портрет Павла Ивановича с сыном. Писал он его странным способом, так как натурщики были нетерпеливые: зарисовывая отдельно нос, глаза, рот, характерные особенности, он по этим документам составлял затем портрет. Удачи не получилось.

Из роскошной гостиной с золоченой мебелью Aubusson, через залу, где на изысканном вечере, на эстраде, убранной цветами, танцевала прима-балерина Гельцер, Харитоненко по желанию моего отца раз провел нас к своей матери, никогда не показывавшейся в обществе. Убогая, сморщенная старушка, в черном повойнике, — живой сюжет Федотова — пила чай за своим самоваром в довольно скромной спальне, с киотом в углу и с портретом на стене ее покойного мужа, рослого крестьяни-

Смоленской губернии, княгини Марии Клавдиевны Тенишевой.

Это была одна из самых незаурядных женщин, с которыми пришлось мне в жизни встречаться, правда, несколько неустойчивого нрава, но широко образованная, с большими запросами и, безусловно, искренней любовью к искусству. Она сама целиком предалась работе по эмали, технике которой изучила весьма серьезно. Невозможность для меня восхищаться ее личными произведениями и мой умеренный восторг перед



Москва. Сквер на Театральной площади

на в длиннополом сюртуке, умнейшего сахарозаводчика и филантропа, создавшего все состояние Харитоненков. Не забуду контраста, меня поразившего! В этом была тоже Москва и две исторические эпохи ее жизни.

Если в одном секторе московской художественной жизни культивировалось по преимуществу подражательное Западу искусство, то в другом, наоборот, все усилия были направлены на искусственную выработку своего особого национального стиля. Но как всякая искусственность и нарочитость в творчестве, эти попытки могли в результате дать лишь произведения псевдонациональные.

Деятельность по воссозданию русского национального стиля была в мое время сосредоточена в двух главных центрах. Одним было Абрамцево, имение Саввы Ивановича Мамонтова, другим имение Талашкино

продукциями талашкинских кустарных мастеровских несколько стесняли меня при личном контакте с М. К. Тенишевой, но беседы с нею об искусстве были всегда очень интересны, и ее суждения, резкие и часто пристрастные, являлись обычно точкой отправления для самых живых споров.

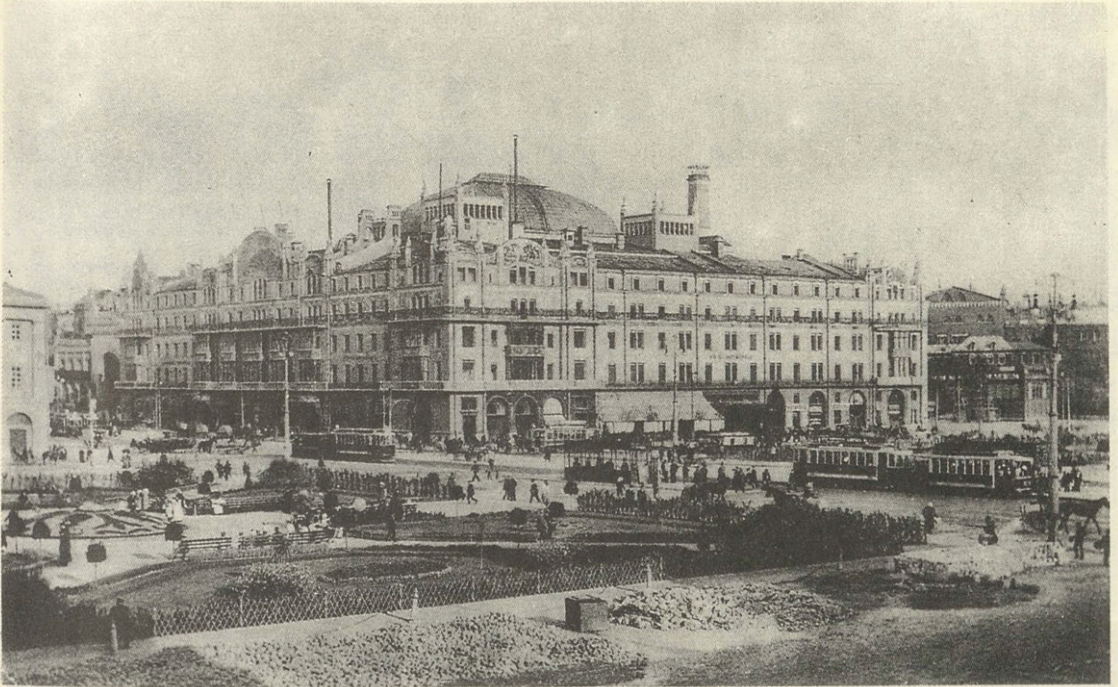
Савва Мамонтов был человек темпераментный, и таковой же бурной была его личная и общественная жизнь. Купец, кулак, самодур и в полном смысле слова самородок, он был богато одарен умом и талантливостью. В его художественной жизни огромную роль сыграл художник Поленов, барин, европейски образованный, много видевший, много путешествовавший и весьма культурный. Писал он приятные пейзажи, довольно слабые академические композиции, но умело сработанные, и был центром особого художественного мира. Он сильно влиял на Мамонтова, обтесывал его, пополнял то, что за отсутствием наследственной куль-

туры (отец Мамонтова был крестьянин) не доставало Савве Ивановичу.

Своим темпераментом Мамонтов умел разжигать художественную страсть у молодых художников, умел веселить, воодушевлять, забавлять и увлекать разными затеями, пока сам не затеял крупное дело, основал свой театр для выступлений г-жи Любатович, певицы, разрушившей его семейную жизнь. Еще ранее у себя в доме Мамонтов ставил любительские спектакли необычайной красоты (Снегурочку), но в театре его дея-

бы», директора Московского Строгановского училища. Такой же нарочитостью дышало и творчество художника Малютина, к несчастью водворившегося в Талашкине кн. Тенишевой и сильно повредившего ей в ее искреннем служении русскому искусству.

Не избежал и Савва Мамонтов этого влияния, хотя в его гончарной мастерской у Московской заставы исполнялись мастером Фроловым прекрасные гончарные работы с благородными поливами со скульптуры Врубеля.



Москва. Гостиница «Метрополь»

тельность уже развернулась во всем блеске. Тут была и новизна затей, и чуткость, талант и очень широкий размах. Привлекались лучшие силы, выписывались знаменитые итальянские певцы, тратились огромные деньги. Декорации и костюмы заказывались лучшим русским художникам. Наряду с интенсивной художественной деятельностью шла разудалая, веселая, кутежная жизнь, с ресторанами, цыганами, тройками, жизнь на широкий московский лад. Помимо живописи в Абрамцево процветало и прикладное искусство, деревообделочное и гончарное, под руководством Поленова, собиравшего по всей России образцы изделий кустарей.

Под влиянием Поленова сочное, своеобразное, талантливое народное искусство перевоплощалось в некий заурядный «поленовский стиль», меня мало прельщавший, но все же неизмеримо более художественный, чем условно-национальный «стиль Гло-

Я любил навещать старика Савву Ивановича в его скромной мастерской у Заставы (где я заказывал все работы для устраиваемой мною с В. В. фон Мекк выставки «Современное искусство» в Петербурге). В память имения Абрамцево эта гончарная мастерская носила то же название. Мамонтов в то время был трагической фигурой. По приговору (Мамонтов был обвинен, не знаю, справедливо или нет, в растрате денег Ярославской ж. д., председателем которой состоял) он был описан за долги и лишен всего огромного состояния и всех любимых, собранных им, произведений искусства. Потому бедного старика особенно трогал всякий знак внимания, всякое посещение и радовало его, когда ценили его работы. Все так же он разгорался, жестикулировал оживленно, когда речь шла о дорогом ему искусстве, и любил рассказывать об интересной своей жизни, о театре, интересовался художниками, выставками.

Грязно одетому, в дурно пахнущем белье, с серовато-желтым, плохо вымытым лицом и таковыми же руками, со злыми, хитрыми, но умными глазами, пристально смотрящими, сильно картавящему на особом стариннорусском языке Черногубову в Москве было суждено сыграть в моем художественном мировоззрении очень большую роль.

Жил он со старухой матерью в крошечном особнячке где-то на задворках в одной из таких ни на что — ни на город, ни

совсем потрясен всем виденным у священника, большого знатока и ценителя иконной живописи (конечно, к тому же и ловкого дельца, — он с притворными слезами расставался с каждой своей иконой), и увез с собой от него большую икону «Сошествие во ад» новгородских писем XVI века, чудесное «Знамение» той же эпохи и целый ряд маленьких продолговатых икон в золотой оправе, изъятых из старинных царских врат, тончайшего письма по золоту. Золотой фон, на который были наложены краски,



Москва. Триумфальная арка

на деревню — не похожих окраин Москвы, все обаяние которой в этой «ни на что непохожести» и заключалось. Тесная, душная каморка его была вся завалена книгами, увешана иконами и лампадами. Познакомился я с Черногубовым у Ильи Семеновича Остроухова, столь же, как и я, этому своеобразному человеку обязанному неким сдвигом в художественных воззрениях и коллекционерской страсти, а этой страсти у москвича Остроухова было хоть отбавляй!

Целый долгий вечер за самоваром речь шла о русских иконах, и мы решили с Остроуховым на другой же день поехать к какому-то странному, указанному нам Черногубовым священнику, собирателю и продавцу лучшего типа древних икон.

Стыдно сознавать, что в то время мне, русскому до мозга костей и москвичу, эти иконы явились подлинным откровением, но в утешение мое таким же откровением явились они и Остроухову. Я был

давал им фосфоресцирующую переливчатость и необычную прелесть изысканнейших *objets d'art*.

И. С. Остроухов не сразу решился на покупку, но на другой же день не утерпел, вернулся к священнику и увез сразу икон вдвое больше меня. Это послужило началом целой эры нашей с Остроуховым жизни. Общий интерес, страсть, изучение икон нас очень сблизили. Все другое в искусстве для меня как-то померкло с этого дня, отошло на задний план. Открылось что-то столь великое, неочтенное, неугаданное до той поры в русском искусстве, что оно затмило все остальные достижения его в живописи, теперь казавшейся убогой, внешней и мало значительной.

Словно некая пелена спала с глаз, прозревших и изумленных в это время. Русское, родное иконное искусство сразу стало в ряд с высшими произведениями мирового значения Равенны, лучших фресок

итальянских соборов, лучших примитивов, притом отличаясь от всего нам известного в религиозной живописи особо русской умиленностью, наряду с серьезностью и праздничной радостью красок.

Секрет этого внезапного прозрения, оправдывающий нашу запоздалую переоценку непонятной до той поры красоты русской иконы, заключался в столь же запоздалом открытии нашем того, что русская церковная живопись на самом деле из себя представляла, после того как сняты были с

музеем, большие средства. В иных совсем размерах я также со строгим отбором стал собирать иконы, которые более всего любил (наряду с произведениями Врубеля) в моем собрании художественных произведений, уделив им особое место, вне галереи картин, в моем рабочем кабинете. У богатого московского купца Викулы Морозова и у П. И. Харитоненко в скором времени на почве увлечения и соревнования развилась также подлинная страсть собирания древних икон. На этой почве



Москва. Страстная площадь

икон вековые наслоения, записи, потемневшая местами коричневая олифа и копоть. Очищенные от этих наслоений иконы явились поистине преображенными, новоявленными. Новоявленными для нас, людей XX века, но как волнительно было сознавать, что то, что мы узрели теперь, — пять или шесть, подчас семь веков тому назад видели русские люди вышедшим из-под кисти мастеров современников! Сквозь века установилась связь с великой эрой, когда все это творилось, водружалось в наши древние храмы и считалось гордостью национального творчества.

Таковыми уже явились нам иконы в первый раз у этого собирателя священника, никому, кроме известной среды староверов, не ведомому, живущему вдали от всех, где-то на окраине города.

С этого момента собирание икон стало целью и содержанием жизни И. С. Остроухова, тратившего на свое собрание, ставшее

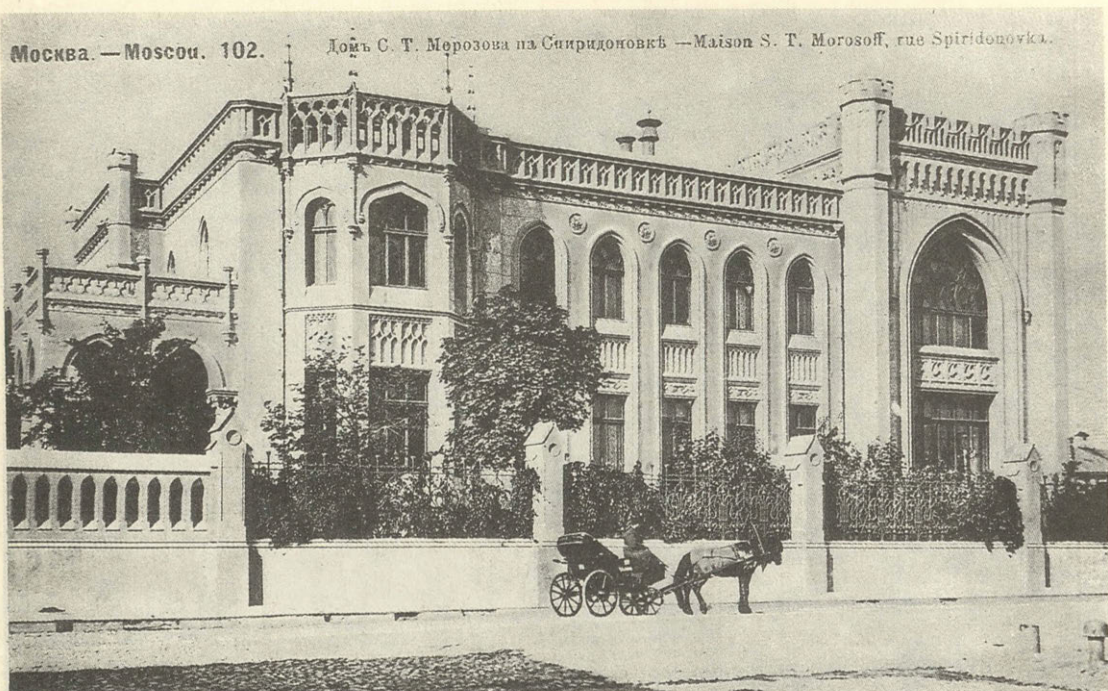
мы все общались друг с другом, спешили посмотреть новые приобретения и чрез Черногоубова и мастеров по расчистке икон (Чирикова и других) были всегда в курсе того, чем пополнилось то или другое собрание.

Сама расчистка икон представляла собой необыкновенное зрелище.

Раз старообрядец в длиннополом сюртуке, узнав о моем увлечении иконами, принес мне большую икону «Троицы». У меня уже развилось умение и чутье распознавать сквозь плохую запись хорошие оригиналы, таившиеся иногда под целым рядом наслоений. Подчас по очень немногим уцелевшим признакам, или по стилю композиции, можно было безошибочно догадаться, что здесь кроется чудесное произведение. Икона «Троицы» казалась XVIII века с пышными золотыми сосудами на столе и роскошной одеждой Авраама и Сарры, прислуживающих трем ангелам, безбожно

записанных, в безвкусных мантиях с розовыми лицами, но необычайно красивой композиции. Я на свой страх купил икону. Острое чувство риска, что, быть может, внизу почти уже ничего не сохранилось, вызывало всегда в таких случаях напряженное волнение. Я пригласил к себе лучшего мастера, Чирикова, столь же умелого техника, сколько просвещенного знатока. Какие это были незабываемые минуты чистой радости, какого-то волнения перед готовящимся «сюрпризом»: что будет, что

он перекрестился. Тоненький ножик скоблил бережно и любовно. Показалась необычайная красота. Барочные чаши с прихотливым орнаментом превратились в круглые чашки византийского стиля, усыпанные жемчугами. Жемчужинами и тончайшим орнаментом, хорошо уцелевшим, была украшена одежда Сарры, а ангелы предстали во всем великолепии золотистого «астиса» (золотые линии по одежде, изображающие сияние ризы) и с дивными, строгими ликами, до того вполне искаженными записью. Дня через три



Москва. — Moscow. 102.

Домъ С. Т. Морозова на Спиридоновкѣ — Maison S. T. Morozoff, rue Spiridonovka.

Дом С. Т. Морозова на Спиридоновке в Москве

окажется? промах? или радостное событие?

Чириков полил икону спиртом и зажег. Вспыхнул целый костер на столе, и вся икона покрылась пузырями и трещинами олифы. Ловким движением ножа Чириков начал соскабливать обожженный слой. Стала выявляться другая живопись, интересная, XVII века, но местами стало проглядывать снизу и что-то другое, неясное и заманчивое. Живопись XVII века была хорошей сохранности — оставить или искать дальше? «Воля ваша: как решите — это неплохо, но снизу, кажется, еще много будет интереснее, вижу уже! посмотрите!» Чириков разгорелся страстью и так и рвался расчищать дальше. Я решил: «Валяйте, будь что будет!» Вторая расчистка, более осторожная, без огня, ножом, кусочек за кусочком, целыми часами. «Хватит дня на три, — сказал, торжествуя, Чириков, — а ведь это великолеpie! Половина XVI века, а то и раньше! Византия! Что Бог даст!» —

я оказался обладателем дивного образа псковских писем начала XVI века, приведшего в восторг проф. Кондакова. Где теперь это сокровище?

«Мода» всегда во всем. Иконы переписывались не из-за порчи их, а согласно вкусу эпохи. Недавно я прочел в очень серьезном труде проф. Швейнфуртера, изучавшего в последние годы русские церкви и иконы, что в ожидании приезда на север императрицы Екатерины II спешно был выломан в одном соборе старый иконостас с дивными иконами (часть их, письма Рублева, найдены были в сарае) и заменен золоченым новым, с пестрыми иконами итальянского стиля, «для большей роскоши».

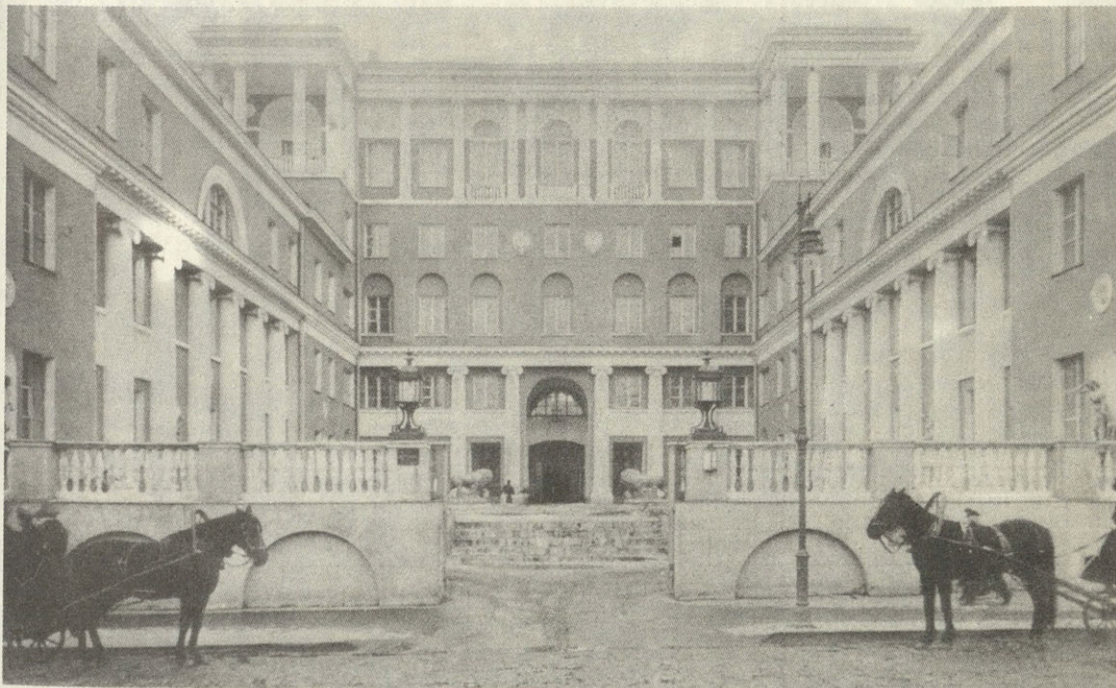
Очень увлекался собиранием икон и государь Николай II, и он обогатил музей Александра III в Петербурге чудесным собранием. Под влиянием новых веяний государь заказал талантливому архитектору Покровскому стройку собора в Царском Селе,

где иконы и отделка в хорошем стиле древней эпохи.

Не стану описывать собрания И. С. Остроухова в Москве, в Трубниковском переулке, с которым я так сроднился, будто оно было моим собственным. Каждую икону мы облюбовывали и изучали вместе и радовались ее «воскресению» после расчистки. Но о самом Остроухове мне хочется вспомнить, уж очень это была типичная, яркая московская фигура и по-своему значительная.

ве — страсть к искусству и увлечение им собираемыми, музейными по качеству иконами.

Конечно, он ценил при этом, как человек с огромным самолюбием, и внешнюю сторону: любил доминировать в Москве как авторитетный, тонкий знаток, передовой меценат в области тогда еще новой и потому возбуждавшей острый интерес и любопытство. Он любил наставлять, открывать глаза непонимающим, просвещать, любил он и лезть. Черногоубов, ловкий, хитрый и



Особняк князя Сергея Щербатова на Новинском бульваре в Москве

Человек крутого нрава, крайне властный и переменчивый, быстро вскипавший и отходчивый, невоспитанный, капризный, раздражительный, русский «самодур», на которого «накатывало» то одно, то иное настроение, Остроухов мог быть столь же грубым и неприятным, нетерпимым в суждениях и оценках, сколь внезапно ласковым, добрым, почти сердечным, внимательным, участливым.

Он не лишен был красивого жеста, порыва, желания порадовать и войти в вашу радость. Наряду с этим он мог быть крайне скуп, завистлив, мелочен, но мог вдруг подарить любимую вещь.

К нему нужно было приспособиться, понять его, оценить в нем культурные интересы, живые и искренние на некультурном общем фоне. Тогда все отрицательное в нем отходило на задний план, грубость прощалась и на первом плане оставалось главное и самое важное в Остроухо-

подобострастный, умел этой чертой Остроухова ловко пользоваться, но, обдывая свои делишки, он являлся и ценнейшим наставником и руководителем Остроухова, будучи хорошо осведомленным, что и где можно найти интересного, подчас первоклассного. Эти два влюбленных в иконопись фанатика друг друга пополняли, они создали атмосферу культа иконы, храмом которой сделался пристроенный к старому тесному особняку Остроухова музей, где бывала вся Москва и куда наезжали иностранцы.

Таков был Остроухов, бывший мелким служащим при Торговом доме Боткиных, женившийся на богатой, некрасивой, но симпатичной Надежде Петровне Боткиной, на благо русскому искусству тративший крупное состояние, сам далеко не бездарный художник-пейзажист, умелый и чуткий, но бросивший личное искусство, будучи одержим благородной, безудержной, всепоглощающей страстью коллекционера.